

Современная музыка

Александр
АМФИТЕАТРОВ
Отравленная совесть



Александр Амфитеатров

Мечта

В книгу входят роман и рассказы Александра Амфитеатрова (1862–1938), чьи произведения были хорошо известны читателям дореволюционной России.

Содержание

#1	0005
#2	0006

Александр Амфитеатров

Мечта

Житейская сказка

Посвящ. графу Льву Николаевичу Толстому

Конка медленно двигалась в гору по захламленной окраинной улице. Мы с приятелем, художником Краснецовым, ехали в Богородское убивать наступающий летний вечер. Вдруг Краснецов воззрился и поспешно снял цилиндр.

— Смотри-ка, смотри! — сказал он, показывая глазами на бедно одетую, простую женщину, которую обгонял вагон.

Двое малюток, мальчик и девочка, лет четырех-пяти, держались за ее платье; на левой руке она несла грудного ребенка, а правую придерживала переброшенный за спину узел. Заметно было, что она опять на сносях.

— Кто это? — спросил я несколько изумленный знакомством Краснецова.

Краснецов отвечал мне слегка взволнованным голосом:

— Это — «Мечта».

— Мечта?.. какая мечта?

— Моя «Мечта»... за которую я получил в Мюнхене премию... Я ее лепил с этой женщи-

НЫ...

Я обернулся, чтобы разглядеть «Мечту». Этим барельефом Краснецов лет двадцать тому назад положил начало своей славе. Я хорошо знал и любил прелестную головку «Мечты». Решительно ничто не напомнило мне ее черт в желтолицей, худощавой бабе, которая понуро плелась позади нас со своею детворой, согбенная под узлом, тяжело раскачивая животом. На мой недоумелый взгляд Краснецов ответил горькою улыбкой:

— Что, брат, непохожа?

— Да уж так-то непохожа... И потом: значит, легенда о твоей «Мечте» действительно только легенда?

— А что она гласит?

— Будто ты вылепил «Мечту» с какой-то московской красавицы, умницы и богачки баснословной...

— Ну да: с Софии Артамоновны Следловской. Это она и есть.

— Эта?!

Я опять обернулся, но конка, взяв подъемом, пошла быстрее, и баба с узлом осталась далеко позади... Краснецов задумчиво гово-

рил:

— Помню зал дворянского собрания, мра-морный, белый, блестящий... люстры огром-ные и отражаются в колоннах... бездна све-та... толпа... Рябов с оркестром на красной эс-траде... Целый вихрь звуков и красок: это — вальс... И она промчалась мимо меня; ее го-ловка почти лежала на плече какого-то офи-цера, и я — помню — благодарил его мыслен-но за то, что его темный мундир дал такой хо-роший фон ее профилю... На ней было платье цвета чайной розы, брильянты... Оживленная такая, глаза — как искорки, румянец... А в ту пору Тургенев только что выпустил «Стихо-творения в прозе». Помнишь: «Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда в моей памяти!.. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!» Тут, брат, я и задумал мою «Мечту»... а потом и сделал... Да: «Стой!.. останься навсегда!» А она, вместо того, вон как... Ах-ах-ах!..

В 1880 году Софье Артамоновне Следлов-ской минуло восемнадцать лет. Ее только что вывезли в свет, и она заблестела в нем яркою

звездочкой. Красавица собой, умненькая, образованная, веселая, как птичка, она обратила на себя внимание «всей Москвы».

Тут Краснецов слепил с Сони свою «Мечту» — сам прославился Сонею, и Соню прославил: за нею так и осталась в обществе кличка Мечта.

Потом Мечта исчезла с столичного горизонта: в глухой самарской или тамбовской деревушке у нее была бабушка, эта бабушка смертельно заболела. Следловские ждали от нее наследства, а бабушка терпеть не могла всех Следловских, кроме внучки Сони. Следловский и отправили внучку Соню ухаживать за больною старухой и ее завещанием.

Бабушка умерла, и Соня возвратилась в Москву. Денег Следловские никаких не получили, потому что старуха завещала все свое состояние на благотворительные дела. Между прочим, получили крупные пожертвования один столичный и два провинциальных университета.

Ходил слух, будто Соня Следловская сама уговорила бабушку разорвать первое завещание, составленное в ее пользу, и заменить его

тем, которое теперь осуществилось. Следловские были этим значительно обездолены, а на Соню в обществе стали смотреть как на юродивую.

Она действительно вернулась из деревни, сильно изменившись. Хороша она была по-прежнему, но бывшее оживление с нее сошло; она стала серьезна и задумчива; улыбалась не часто, смеяться же не смеялась никогда; ласковые синие глаза приобрели особый взгляд — важный и пронизательный взгляд внутрь себя.

— Два года тому назад, — сказал ей Краснецов, — я хотел лепить с вас «Птичку Божию»; как она «гласу Бога внемлет и поет себе, пост»... Вы украли у меня модель!.. Но я вам отомщу тем, что слеплю с вас «Святую Екатерину, встречающую небесного Жениха...»

— Разве что небесного... — возразила Софья Артамоновна, — земного у меня не будет.

К весне старик Следловский расхворался, в два, три дня его свернуло: умер. Привели в порядок дела: актив оказался мизерный, а пассив внушительный. К счастью, покойник выбрал душеприказчиком человека ловкого и

преданного: он разобрался в наследстве, — по крайней мере, банкротство вышло хотя полное, но глухое, без скандала, и Соне остался небольшой капитал, тысяч в двадцать пять.

Но месяц-другой спустя после того, как все это устроилось, — пришли слухи о новых чудачествах Софьи Артамоновны: она обратила в деньги все свои вещи, даже платья и книги, и платила мелкие долги покойного отца... Из капитала уцелела едва пятая часть. Душеприказчик пришел в ужас и отнял у Сони оставшиеся пять тысяч, кроме расходных. Затем Соня очутилась в глухой провинции, на хуторе у своей дальней родственницы, — небогатой старушки, весьма кроткой сердцем и весьма недалекой умом, из которого она, как сама рекомендовалась, уже выживала «по вдовьему своему положению». Душеприказчик Следовского поместил Сонины деньги в какое-то дело и выплачивал ей каждый месяц сорок рублей. Жить бы можно, но Соня навязала себе на шею нужды и болезни всей деревенской округи. Здесь учила, там лечила, утешала; обучилась хозяйничать — править всякую черную работу...

— При такой любви к бедным людям, — сказал ей местный священник, — вам бы следовало пойти в учительницы или фельдшерицы.

— К сожалению, батюшка, эти места все наперечет.

— Вы можете иметь протекцию: вам не откажут.

— Вы меня не поняли, я не в том смысле... Я хотела сказать, что мне пришлось бы заслонить такое место от кого-нибудь из нуждающихся более меня. У меня есть сытный кусок хлеба, а обыкновенно таких мест ищут люди, только что не умирающие от голода...

В околотке о Соне заговорили. Крестьянство видело в ней чуть не подвижницу. Становой сперва недоумевал было. Но годом позже, когда кто-то из местных охранителей намекнул, что поступки г-жи Следловской неспроста и не мешало бы полицейской власти иметь за нею глазок-смотрок, становой даже окрысился:

— А вот у нас неподалеку Пафнутий Боровский покоится. Вы бы уж заодно и к нему в раку слазили с обыском...

И лишь Соня — одна — была собою недовольна. Краснецов встретил ее на тульском вокзале: она ехала в Москву за покупками.

— Меня поразило грустное выражение ее глаз, недоумевающих, точно ждущих. Я высказал ей удивление к ее подвигу, о котором уже слышал раньше. Она покачала головою: «Не то, все не то... разве это подвиг!» — «Как же иначе-то?» Она задумалась. «Подвиг — это если кто возьмет на себя ради других великое страдание. А мне легко. Я наслаждаюсь». — «Ну, Софья Артамоновна, это уж аскетизм...» — «Я не об аскетических подвигах говорю. Страдания в миру много больше, чем в пустыне... На полу валяется; стоит только нагнуться и подобрать... И вот на это-то надо много мужества. У меня не хватает... Вы читали „Юлианя Милостивого“?» — «Знаю». — «Вот...»

На хуторе она прожила около двух лет и к концу второго года совсем замолчала: одолели думы и деятельность. Ее плотно сложенные губы, не улыбающееся лицо, остановчивый, задумчивый взгляд смущали домашних: видно было, что Соня мучительною борьбою

перерабатывает в себе какую-то новую мысль или затею. Однажды она уехала в Тулу к знакомым и загостилась у них на целые две недели. На хуторе начали уже тревожиться, как вдруг пришло письмо, и не из Тулы, а из Орла; Соня просила у тетки прощения, что обманула ее, и навещала, что вышла замуж. Просила также не искать ее и о ней не беспокоиться, потому что «ни брак мой, ни муж мой вам не могут быть по сердцу»... Подписала письмо: «Софья Тырина». Тревогу и недоумение тетки легко себе представить. Наведя справки у душеприказчика, она узнала только, что Соня действительно вышла замуж и вытребовала у него из своего капитала тысячу рублей, которые он и переслал ей в Орел. Остальные же четыре тысячи он, по распоряжению ее, внес — частью в университет, частью передал одному московскому священнику, известному своей благотворительной деятельностью среди чернорабочей столичной бедноты. Послушался он приказа Софьи Артамоновны потому, что в ее письме к нему были такие фразы: «Знаю, что, жалея меня и боясь моего неблагоразумия, вы, пожалуй, не за-

хотите исполнить моего желания; поэтому особенно прошу вас не смущаться: благодаря моему браку, я в своих личных средствах более не нуждаюсь»... Какой именно Тырин женился на Софье Артамоновне, душеприказчик не знал; но есть Тырины крупные кукольных дел мастера; вероятно, из них...

Между тем, когда известие о свадьбе Сони огласилось, в околотке заговорили чудное. А именно: будто Соня вышла замуж не за кого другого, как за Прошку Тырина, вдового медника, лядащего пьяничку из пригородной рабочей слободки, той самой, с которой, говорят, Глеб Иванович Успенский написал «Растеряеву улицу».

Вот как это случилось.

Как-то раз, посещая на слободе больную старуху, Соня услышала отчаянные детские крики: два голоса вопили, точно с ребят заживо драли кожу.

— Что это? — с испугом спросила она.

— А это Прохор-медник опять наказывает своих девчонок.

— За что же он их наказывает?

— Есть просят, а дать нечего, — пропился,

разбойник, до нагого тела... Ну, слушать то и невтерпеж... сердце не камень... родитель тоже...

— Часто он их так?

— А день-деньской... Покуль в питейном, потуль и молчат...

— Пьет?

— Первый на это Ирод.

— Нищие?

— И креста на шее не осталось...

Соня зашла в хатенку медника и ахнула — где и как могут жить люди. Такого убожества ей еще не случалось видеть. Девочки — одной шесть, другой пять лет — были хорошенькие, несмотря на истощение, их съедавшее, и на грязь, облежавшую их личики, тельца и лохмотья. Сам Прошка — маленький и тощий человек в немецком платье, составленном из заплат, — был бледен пьяною, серо-зеленою бледностью человека, которому водка заменяет хлеб; его избитое лицо, со шрамом над бровью, его коричневые недружелюбные глазки, полные трусливой наглости...

— Ты видел его, что так подробно описываешь, — перебил я Краснецова, или это ради

пущей трагичности?

— Видал, брат; если хочешь, и тебе покажу, порадуйся, — угрюмо проворчал художник.

Все это безобразие Сою не испугало. Она сделала Прощке выговор, а он стал оправдываться, и таково уже было обаяние этой любвеобильной девичьей души, что, неожиданно для самого себя, Прощка в первый раз вдумался, откуда берется его пьянство, и заговорил с Софьей Артамоновной горячо и искренно...

— Никакой подмоги-с! — выкрикивал он, — окончательно! А между тем они в два рта-с пить-есть хотят, и в омут их никак невозможно, потому — душу имею и — опять же — в Сибирь! Работы не имею... Господин урядник самовар чинить в город повезли, а мне говорят: ты, пьяница, еще в кабак снесешь, пропьешь, хотя я и начальство. И так надо правду сказать, что они в своем праве: пропью-с. Потому, сударыня, не сообразишь. Что нонче, что завтра — одна судьба. Я сам-третей теперича живу; я и в работу, я и в пропой, а тут еще идолята... С горя пьешь, с горя бьешь... Было времечко: не хуже людей жили, сударыня, пока хозяйка не померла да этих одров

мне оставила. Без бабы как без рук, потому — разорваться мне не предвидимо никакой возможности...

Выспросив Прошку, Софья Артамоновна сделала заключение: чтобы выбиться из семейного безобразия, ему надо вторично жениться, а чтобы выбраться из нужды — начать свое ремесло сызнова и лучше всего на новом месте, потому что в своей стороне он был уж чересчур скверно ославлен. Прошка пьяница, Прошка вор, Прошке поверить — двух дней не прожить...

Софья Артамоновна стала искать ему невесту. Напрасный труд!

Больше всего надеялась Софья Артамоновна на Марину, скотницу своей тетки, девку уже — на крестьянский взгляд — не молодую, то есть за двадцать лет, но честную, доброй души и ражую работницу. Марина обожала Софью Артамоновну и верила ей, как иконе. Однако выйти за Прошку Тырина она наотрез отказалась.

— Да и вряд ли вы такую дуру найдете, барышня, — откровенно сказала она.

— Почему? — строго спросила Соня.

— Да помилуйте... у нас невест немного... на каждую добрый жених найдется. За вдовца с детьми редкую отдадут — и за хорошего-то... А за такое стерво... Обидно даже. И пьяница, и вор. и бабник... ни одной пакости не обижает — все в себя принял...

— Он такой от несчастья, а хорошая жена несчастье с него снимет.

— А как он ее до той поры в гроб вколотит? Первую вколотил же...

— Ты не забывай: три души человеческие спасти надо. Девчонок пожалеть следует. Ведь они пропадут. Такой, как сейчас, он и себя, и их загубит. А мы, кто видел и не помог, ответ за это дадим...

Марина уж с досадою перебила:

— Да что вы, барышня, все о чужих душах?.. Ту душу спаси, другую спаси... а мою-то, стало быть, вы уже ни во что ставите?

— Твоя душа тем и спасется, что ты спасешь три чужие души.

— Какое уж тут спасенье, коли каторга?.. — И, рассердясь, отрезала вдобавок: — Хорошо вам о душе, как вы барышня, и вас это дело не касающее. А будь вы нашего звания, к приме-

ру, скажем, хоть как я, Маришка, и я стала бы вас сватать за этакую гнусь, — то-то бы им меня по шеям погнали... даром что сердобольница...

Мысль эта поразила Софью Артамоновну.

«В самом деле, — подумала она, — как же это я убеждаю другую поднять подвиг, который не испытан мною самой».

— Ты права, — сказала она после долгого молчания, — прости меня... это мне в голову не приходило... ты права!

Неудачные сватовства не отбили Софью Артамоновну от мысли спасти ребятишек (их ей было особенно жаль) Прошки и его самого. В эту-то именно пору и встретились мы с нею на тульском вокзале и, разговорившись, дофилософствовались до Юлиана Милостивого и его легенды... Кстати, ты то ее помнишь?

— Разумеется, помню общие черты... Это латинский апокриф, поэтизированный Флобером и так удивительно переведенный Тургеневым...

— Да. Я, брат, выучил его потом наизусть. Не поскучай, если я повторю тебе отрывок

этой легенды... с того места, как Юлиан принял у себя таинственного прокаженного, накормил его последним куском хлеба, напоил последнею кружкой вина и развел для него костер среди своего шалаша... Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал, глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран, и почти угасшим голосом он прошептал: «На твою постель!» Юлиан осторожно помог ему добраться до нее и даже накрыл его парусом своей лодки. Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов; учащенный хрип потрясал его грудь, и при каждом дыхании живот его подводило до спинных позвонков. Затем он закрыл веки. «Точно лед в моих костях! Ложись возле меня!» И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья рядом с ним бок о бок. Но прокаженный отвернул голову. «Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела!» Юлиан снял свою одежду, затем нагой, как в день своего рождения, снова лег в постель и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему; она была холоднее змеиной ко-

жи и шероховата, как пила. Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал, задыхаясь: «Ах, я умираю! Приблизься! Отогрей меня не руками, а всем существом твоим!» И когда Юлиан согревал своего страшного гостя «ртом ко рту, грудью к груди», тогда «прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовонья розы... крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо».

Отчаявшись найти Тырину невесту, Соня решила изменить своему намерению — не выходить замуж — и предложила ему в жены самое себя.

Надо отдать справедливость Прошке: сколько беспутен он ни был, однако, совсем ошеломленный этим предложением, он выставил Софье Артамоновне на вид все неудобства их союза, какие мог сам сообразить.

— Я все обдумала и готова идти за вас такого, как вы есть. Только обещайте мне, что

вы бросите пить, займетесь делом, перестанете мучить детей и учить их худым делам.

Прохор отвечал ей на это с прямою:

— Что делом своим я займусь, коли меня не будут тянуть за душу долги и найдутся деньги на новое обзаведение, в том готов хоть сейчас снять образ со стены. А в остальном, барышня, не властен присягать. Потому, все, что вы говорили, во мне от водки. А со владаю ли я с водкой, того не знаю. Потому что сейчас не я над нею, подлою, но она над мною командир.

Софье Артамоновне очень понравилось, что Тырин говорит с нею так искренно, и она тоже сказала ему с полною откровенностью:

— Ну, авось как-нибудь сладимся и уживемся. Сейчас, конечно, вы человек нестойкий, и я иду за вас замуж, коли желаете, не столько для вас самих, сколько для ваших деток. Им мать нужна, Прохор Иванович, — они у вас пропадут без материнского призора и женской руки. Такой мачехи, как я, ручаюсь, им не найти другой; я выращу их девушками честными, такими, что все будут ими любоваться.

— Да-с, девочки... это прекрасно-с... но как же я-то? Какое же промеж нас может быть супружество, ежели вы обо мне самых пропащих мыслей?

— Нет, Прохор Иванович, это вы напрасно так говорите. Если бы я считала вас пропащим, то не пошла бы за вас замуж. Я вас почитаю несчастным: так вас запутала горемычная жизнь, горькая доля, слабая воля, что одному вам не выбраться... Вы в болоте по горло... Я же надеюсь сделать из вас человека, и если дозволит Бог сбыться моим надеждам, то даст нам и привычку друг к другу, и возможное счастье. Я, Прохор Иванович, не ищу многого от жизни; и если сбудется, как я задумала, то ничего другого не пожелаю. А покуда обещаю одно: буду вам женою верною, покорною и терпеливою.

— Софья Артамоновна, — сказал Прохор, — хотя вы не имеете многих капиталов, однако приучены к хорошей жизни, а ведь ежели случится статья такому делу, чтобы нам впасть в супружество, придется вам отведать нашей грязноты и бедноты.

Соня возразила:

— Вы смущаетесь, что я барышня. Не бойтесь. Ведь это только имя, а на самом деле — какая же разница между мною и другими девушками? Я здоровая, сильная, работы не боюсь, управиться по дому — все могу и умею. А что я, родилась барышней, с тем и пойду за вас, чтобы вы забыли об этом, как теперь забываю я...

Не думаю, чтобы между людьми и повыше Прошкина уровня было много способных долго выдерживать такой убежденный и настойчивый искус. Что Софья Артамоновна губит себя, конечно, понимал и Прошка. Но совесть у него была малая, а соблазн представлялся огромный. Соня приносила ему тысячу рублей и возможность обхозяиться заново. Заиграли и корыстолюбие, и самолюбие, и чувственность. Соне тогда шел двадцать третий год. Она была в полном расцвете молодости и красоты. Пока она не прочила себя в брак с Прохором, он, разумеется, и не замечал ее красоты, потому что она была — не свой человек, из чужого, высшего мира. Но теперь, когда красота сама давалась в руки, у Прохора разгорелись глаза. Недаром же Марина руга-

ла его бабником.

Они обвенчались в Орле, где и поселились, открыв лудильное и паяльное заведение. Годы два тому назад я, проездом через Орел, видел старуху-дворничиху, которая присутствовала при свадьбе и даже со своего двора отправила Соню к венцу. Эта благоразумная баба всячески убеждала Соню одуматься, пока не поздно, и не вступать в брак каторжный и бесполезный.

«Прошку я давно знаю, — говорила она. — Человек он спутанный. У него небось и крови то в теле нет, а одна водка. А водка — водки же и просит. Ничего ты его не поправишь, а все, что ему принесешь, он пропьет; и придется тебе с ним мыкать до вечное горе. И сам пропадет, и тебя погубит... вот какой это человек. Озверелый. Благодарности и нежности не понимает, а изуверства сколько хочешь. Первая жена у него сама была брех; смертным боем дрались с утра до ночи. Да и то не стерпела — надорвалась: заморил бабу, бесстыжая душа! А тебе — куда же сладить с ним, эзопом? Если уже хочешь непременно принять на себя в супружестве трудовой по-

двиг, так найди жениха хорошего, трезвого, работающего... а это — что?! Сказано: гнусь — человек, гнусь он и есть...»

На уговоры старухи Соня не возражала, но принимала их — «что стене горох», и все твердила, что заплатить за три спасенные души удобствами и баловством (это она то себя баловала!) своей жизни — цена недорогая; что, главное, ей бы вырастить девочек...

Старуха даже рассердилась:

— Какая тебе, мать, печаль чужих детей качать? Вот уж подлинно «старица Софья по всему миру сохнет». Сироты, конечно, жалки; хорошо призреть сироту. Да ведь ты не в монастырь идешь, а замуж. Сама учнешь рожать — не до сирот станет. Чужую крышу не кроют, коли своя в дырах...

Соня побледнела и ничего не сказала.

Уговаривала старуха и Прохора:

— Эй, Прошка! Не бери греха на душу: загубишь девку понапрасну, а себе не сыщешь ни пользы, ни радости. Неровня она тебе и не пара. Взыщется с тебя за нее.

Но он огрызнулся:

— Пустые ваши слова, тетушка, потому

взыскивать с меня окончательно не за что. Я Софью Артамоновну не неволю. Мне и самому боязно, что она затеяла, но — ежели ее такое желание, чем я тому причинен? Она не маленькая, имеет свой разум, может рассудить, за кого идет и на какую жизнь. А я — дурак я, что ли, что счастье само плывет мне в руки, а я стану отказываться?

— Да какое счастье, глупый ты человек? Не будет тебе с нею счастья, не ужиться грачу с белой лебедью...

— Уж это, тетушка, как Бог даст. Я же вам скажу вот что: моя жизнь теперича такая, что, куда ты меня ни поверни, мне не может быть хуже, чем сейчас, потому — хуже уж не бывает.

В церкви, однако, Соня оплошала. Под венцом стояла белая как мел, священнику согласие сказала — точно в подушку, никто и не слышал, и, когда сняли венцы и священник приказал молодым поцеловаться, пошатнулась. После венчания справляли на новоселье свадебную вечеринку. Улучив минутку, старуха вызвала Соню в сени, и, пока она шептала обычные напутствия и наставления, каки-

ми награждают новобрачных посаженные матери, молодая билась у нее на плече, рыдая в истерическом припадке...

— Что я над собою сделала!.. что сделала!.. О, Боже! И вдруг все это напрасно?!

«А я совсем потерялась. Не придумаю, что сказать, что делать. Топчусь возле нее, бормочу, что, мол, дело сделано — не разделявать; думала бы раньше, а снявши голову, по волосам не плачут; стерпится — слюбится... все эти наши, знаешь, бабьи присловья! А самой так на нее горько, — ну, вот точь-в-точь — когда сын в солдаты уходил...»

Так кончилась жизнь Сони Следловской, потому что дальше началось уже житие.

Может быть, расчет Сони покорить Прохора своему нравственному влиянию, стать руководительницею и наставницею своей новой семьи, и удался бы. Прохор очень хорошо понимал ее превосходство и — в короткое свое жениховство — мало что совестился, даже побаивался невесты-барышни. Он сознавал, что судьба странно связывает его жизнь с существом особого, высшего порядка, с существом мудреным и хрупким, с которым и

обращаться надо по-особенному, но как именно — он не знает: выходит, барышнину дело будет приказать и научить, а его — слушаться и делать, что велено. Следовательно, Прохор тоже шел под венец, как на послух своего рода, и — не вовсе еще пропив свое мужское самолюбие — втайне немножко смущался своею будущностью. Он размышлял: «Остепениться — что говорить? — хорошее дело: попито, погуляно, полежано на боку, нагоревано и набедовано — в достаточности; пора остепениться — благо экий клад упал с неба... Только что-то сердце щемит ровно я воли своей решаюсь... Сейчас я, хоть кабацкая затычка, живу сам себе голова; хоть жрать нечего, никому не уважаю. А барышня гнет на ту модель, чтобы меня — вроде как бы под начал. Как учнет она мною верховодить, да не стерплю я, растоскуюсь по прежней жизни...»

Будь Соня менее красива, не будь за нею тысячи рублей, Прохор, вероятно, поддался бы на старухины уговоры и сбежал бы от неравного брака, как новый Подколесин. Но пожива была слишком соблазнительна, и разыгравшиеся аппетиты заглушили в Тыри-

не его слабые колебания...

«Эх! — решил он, — была не была! Куда не вывозит кривая? Авось — Бог милостив — не вовсе взнуздает меня барышня... Да коли и взнуздает — говорю: хуже, чем сейчас мне, не может быть ни от какой перемены жизни».

Если бы Соня захотела поддержать в муже его конфуз и робость перед нею, сознание, что она, как некое полубожество, снизошла до него, чтобы его, недостойного, спасти и возвысить от образа свинского к образу человеческому, что он всегда и во всем должник жениной доброты и благодеяний, по гроб неоплатно ей обязанный, — игра ее была бы выиграна. Из Прохора мог бы выйти если не хороший муж и человек, то послушный и опасливый раб, который, в руках умной, честной и кроткой госпожи, и сам толков, трезв, честен и работающ. Но в натуре Сони не было ни капли властности. Всякое нравственное насилие претило ей, благая цель не оправдывала в ее глазах грубых средств. Она надеялась влиять на Прохора, не возвышаясь над ним, не господствуя, но мягким равенством отношений и полным к нему доверием. Доб-

рожелавшая Соне дворничиха советовала ей придержать у себя остаток от тысячи рублей, после того, как — в виде Сониного приданого — устроилась мастерская, были куплены ремесленные права, приобретено все обзаведение для будущего домашнего хозяйства молодых.

— Пока ты с деньгами, он, пьяница, всегда будет у тебя под башмаком, убеждала старуха.

Соне не понравился и этот совет. Она вообще не любила денег, считала их злом, и господствовать над мужем их властью показалось ей противно. Если она вверяла Прохору самое себя, какой смысл был не поверить ему и денег? Разве деньги дороже самой себя? И перед тем, как отправиться к венцу, — она передала жениху весь свой крошечный капитал.

Это была большая и наивная ошибка. Заполучив деньги, Прохор почувствовал себя на твердой почве и возомнил о себе чрезвычайно много. Для таких людей самостоятельность — опасное оружие. Они безобидны только пока они под ярмом. Если они не рабы, они лезут в деспоты. Едва Сонины деньги перешли к Прохору, он заговорил и повел се-

бя с невестою много развязнее.

Трусливое благоговение его перед Сонею значительно потускло: во-первых, главная основа благоговения, капитал, принадлежала теперь ему, а не Соне; во-вторых, Соня, на Прошкин взгляд, сделала глупость, и, стало быть, не так и мудра и властна, как он ее воображал... А в первые же дни брака Соня вторично проиграла игру — и уже окончательно и бесповоротно.

Как большинство очень чистых девушек, Соня имела явственный идеал брака, как союза духовного, но не имела никакого представления о браке, как семейном сожительстве. И когда выступила вперед эта сторона супружества, Соня потерялась и не выдержала характера, — не сумела скрыть брезгливого ужаса, физического отвращения к мужу. Прохор заметил; на отвращение он озлился, а ужасом воспользовался, чтобы овладеть положением. Как только он понял, что жена, которой он так конфузился и робел, еще больше боится его самого — Прохор сразу осмелел и обнаглел. Суеверный культ его к «барышне» растаял без следа: необыкновенная жена трясется

перед мужем осиновым листом, как и всякая обыкновенная баба, — значит, такова она и есть! А на обыкновенную бабу и закон обыкновенный: жена да боится своего мужа! И первая же неделя супружества показала Соне, что она — жена-раба, в лапах мелкого, но властного деспотика.

Зажав в кулак покоренную, перепуганную женщину, Прохор был очень весел. А Соня стала как неживая, — исполнительная и покорная, она делала все, точно не своею волею и силою, но как машина, по заводу. Она имела вид спокойный, охотно и разумно разговаривала, но таилось в ней что-то новое, жуткое, «от чего, — говорила старуха, — даже плакать хотелось: точно она заостенела в холодном ужасе. Покуда этот страх на ней лежал, я за нею, как тень, следила. Все боялась: не удавилась бы она. Ох, да и удавилась бы — чем бес не шутит? силен лукавый: долго ли до греха? — да пожалел ее Господь: вскорости отвел мысли на другое, — послал дитя понести. Ну, и ничего, Бог милостив, перешло. А уж так-то ли было жутко! так жутко!»

Тайна самоотречения созрела, и Соня спра-

вилаась с собою: ей стало легче. Старуха на- пророчила правду: дело у Прохора не пошло. Он действительно слишком изленился и из- бражничался. Притом же, зачем гнаться за работой, когда в кармане звенят деньги?

— Потружено, слава те Господи! — рассуж- дал он, — холода, голода, всего принято предостаточно. Дай же ты человеку дух пере- вести.

Мастерская работала слабо. Заказы были, но Прохор модничал, важничал, дорожил, затягивал работу. Заказчики шли к другим мастерам.

— И прекрасно! И сделайте ваше великое одолжение! — шумел Прохор, распивая чай в заведении «Нахал-Кэпе», как перекрестил темный околоток «Ахал-Теке». — Чтобы цену сбивать, нам, друзья, нет таких расчетов. Де- лателю, брат, довлеет мзда по делам его: так- то выходит справедливость от Писания. Рабо- та моя, прямо скажу, питерская работа. Стало быть, и денежки пожалуйста стоящие. А не угодно — не неволим. Но чтобы за грош на ро- жон... не-ет! мы, хвала Создателю, при соб- ственном капитале, не нуждаемся.

Соня находила мужа не совсем неправым; в самом деле, ему, намаявшемуся в долгой собачьей жизни, не грешно легкою передышкой восстановить силы, измотанные голодным горем и пьянством с голодного горя. Кругом их мелкий кустарь задыхался в каторжном труде и кабале долгов, как много лет задыхался раньше Прошка... Им незачем лезть в каторгу и кабалу, незачем бросаться в хищную погоню за каждым куском наперебой, которая превращает жизнь соседей в сплошной кошмар ненавистной грызни за существование. Им незачем перехватывать заказы у этих горемык.

— Они своей нужды переждать не могут, а мы можем. Они понижают цены поневоле, потому что только этим и могут привлечь к себе заказчика, а мы, если понизим, значит, прямо с расчетом разорить их, поморить с голода...

По таким соображениям, Соня смущалась не столько безработицей, сколько копотностью, небрежностью, скукою, неаккуратностью мужа в работе, когда она перепадала. Она хотела помогать ему, но Прошка обругал

ее:

— Слыханное ли дело, чтобы баба в мастерство лезла?.. Этак ты и в солдаты полезешь... Знай свое дело у печки...

Да, правду сказать, этого дела у печки было по горло. Работницу Тырины держали только первые месяцы после свадьбы, пока Соня не втянулась в обиход своего хозяйства и не убедилась, что оно ей под силу и одной. Печь, корова, куры, нынче — хлебы, завтра — стирка, послезавтра — мытье полов, две девочки на руках, общей их, обмой, учи грамоте, да сама — тяжелая. К вечеру Соня не чувяла под собой ног, и, когда куры садились на наест, слипались и ее глаза. Набирать еще работы — значило бы надрываться, а силы надо было беречь. Соня смутно чувствовала, что в одной своей надежде она уже обманулась работником Прохор не будет, и, следовательно, когда приданные деньги выйдут, заработок их окажется ничтожным и дом упадет всею тяжестью на ее плечи.

Личные отношения супругов были ладны, на людской взгляд, и дурны на самом деле. Какие бы покоры ни ввели на русскую

крестьянскую, мещанскую, мелкокупеческую, сельскую поповскую семью, сколько бы недостатков там ни было, однако жена в ней редко почти теряет свою нравственную личность. Часто она — прежде всего рабочая и страдающая сила, часто — производящая и кормящая детей самка, но она почти никогда не наложница, не тварь, введенная в обиход лишь ради чувственной утехи: заурядный брачный порок городского культурного круга. Народ даже не любит, когда муж с женой чересчур нежничают между собою. Вон, как Кабаниха обрывает Катерину: «Что на шею лезешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься». Да и в песнях, и в сказках, и в летописях наших, и у попа Сильвестра, страсть, сентиментальность, чувственность — все любовникам и любовницам; супругам же — «закон», «благополучное и мирное житие», «брак честен и ложе не скверно». Словом, цель русского простонародного брака: прямая — упорядоченное рождение детей, и косвенная — приобретение в семью работницы. Я сам знал баб, искренно несчастных тем, что мужья (из разбалованных питерщиков) любили их «не

для детей» — и мужья эти коренным деревенским людом считались пакостниками и развратниками, потому что, «коли ты затеял бабство, так ступай срамись по любовницам, а жены позорить не смей; она — навек, она — закон».

Такою несчастною бабой — не только для закона, но и для потехи отчасти вышла Соня. Прохор был человечиска мстительный. Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскованья и кабацкого распутства, и обозлило его, и изгязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему Сони — под венцом; догадывался, что втайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как ни искусно она притворяется; понимал, что иначе быть не может, не с чего быть иначе. За все это он мстил Соне именно преувеличенною, без уважения, грубо-повелительною нежностью напоказ: любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад. А ты, барышня, знай хозяина. Потому что ты мое: хочу — люблю, хочу — убью...

Советов Сони Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал: «Баба норовит

зажать меня под пяту».

Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по-своему, а не по бабьему разуму.

— Моя в доме воля! — тупо рубил он в ответ на все резоны и увещевания.

Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбою, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать — значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшею в семье, он, в победном самодовольстве, презирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу: существо небесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд прост и добродушен, — он не со зла, а «по старине». Прохор же, как маленький тиран, любил своею властью оскорбить, огорчить, унижить.

Пока все это только проскальзывало, а не было общим правилом. Чувствовалось, но не въявь, — таилось. Таилось, пока Прошку свя-

зывали две силы: купленная на Сонину тысячу рублей возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони.

Деньги растаяли в три года. Тырин — опять лицом к лицу с повседневной работой или нищетой, на выбор. У него на руках трое малых детей, прижитых с Сонею, да еще две девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится, точно со своими, жена, подурневшая, постаревшая на десять лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному то безработицею, то ненужностью работы: пьяную и праздную нищету. Словно уверился: «Куда ни кинь, все клин, одна каторга. Проклят я, и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя».

Кабак победил. Дома не стало. Вместе с нищетой и пьянством пришли и побои. Соня нашла свое страдание и нашла его полностью... Если бы не она, если бы не ее сверхсильный и разнообразный труд, ребятам Прохора пришлось бы стучать под чужими окнами за куском хлеба Христа ради. Откуда только брала она энергию и как ее Бог выручал!

Провалившись в Орле с своим мастерством, Тырины перебрались в Москву. Здесь, в передней у одной барыньки-заказчицы, я встретил Софью Артамоновну уже такою, как ты ее видел сейчас. Только художнический глаз мог признать в ней былую Мечту. Потом она призналась мне, что очень мне обрадовалась, а между тем встретила меня сухо, почти с испугом. Я для нее был человеком из чужого мира, вне ее подвига, — значит, не понимающим и враждебным.

С тех пор я уже не упускал Софью Артамоновну из вида. Говорил с нею, узнал ее каторгу во всех подробностях. А общее — вот оно: вечно пьяный лентяй-муж, каждый день побои, каждый год дети и — работа не в подъем, с утра до ночи, — от печи к игле, от иглы к прачечному корыту, от корыта к вязальным коклюшкам... чего-чего только она не работала!

— Бросьте вы все! — убеждал я ее, — ведь ясно, что вы ошиблись, из вашей затеи ничего не вышло, и вы не на своем месте.

Она даже не поняла меня:

— Как бросить? Как не на месте?

И недоумевающий взор ее очей, — пожалуйста, не улыбайся, потому что у нее именно очи, а не глаза, — стал строг и светел. А мне сделалось стыдно, что я ее уговариваю, — стало ясно, что счастье ее заключается именно в том, что я принимаю за ее несчастье. И я покраснел под ее взглядом, а она смягчилась и добро рассмеялась:

— Уйти, бросить... а куда же я дену свой муравейник? Тоже и его бросить? Ах, Василий Николаевич! Как вы там — в своих умных кругах — легко и быстро думаете... У меня дети, голубчик, у меня муж — больной, слабый человек. А вы говорите — «я не на месте»! Что Бог соединил, человек не разлучает. Не на смех венчались.

— Полно, Софья Артамоновна, говорите, что хотите, только не это. Сами отлично знаете, что сгубили себя ни за что ни про что... Какой уж Прохор муж для вас!

Она опять потемнела и нахмурилась:

— Каков бы он ни был — муж.

— Ну, Софья Артамоновна, с вашими строгими религиозными взглядами такое даже говорить стыдно... Брак без любви — не брак.

Она слегка покраснела, отвернулась и говорит, глядя в сторону:

— Без любви... без любви... да почему вы так уверены, что я не люблю Прохора?

— Софья Артамоновна! Хотя в этом-то будьте откровенны... Ну за что вам его любить, можно ли любить? Что же, скажете, пожалуй, что вы и вышли за него по любви?

— Нет, я не позволяю себе лгать. Тогда я его не любила. Он был мне страшен...

— А теперь, когда вы все его безобразия испытали на своей собственной коже, стали любить? С какой же это стати?

— С такой, что брак — таинство. Он приносит любовь.

— Мистицизм все это. Напускаете вы на себя.

Она рассердилась и еще гуще покраснела.

— Что же? — сказала она прерывающимся голосом. — Вы правы в том, что Прохор Иванович дурно ведет себя и жить с ним не легко... А я, видите, десятый год живу... Захотела бы, так ушла.

— Сами же говорите: дети держат... ишь, их у вас действительно какой муравейник!

— Да ведь от него дети-то, Прохоровы... Что же? И это, стало быть, без любви? Что же вы меня — за животное считаете?

Я только руками развел.

— Ну, не понимаю я вас.

— Нет, вы любви не понимаете. По-вашему, любить — значит наслаждаться да красоваться собою, а по-моему, любить — значит жалеть. И если мне никого на свете не жаль больше, чем этого несчастного, безвольного, порочного человека, — ну, никого, никого!.. — так неужели же не значит это, что я люблю его, и, стало быть, неспроста Божья воля отдала ему меня в жены?

Я никогда не мог уговорить ее взять от меня денег. «Зачем? Нам хватает», — отнекивалась она.

И, действительно, я видел, что хватает: ребята были чисты, грамотны, сыты; кабы не пьянствовал Прохор да не так часто рожались дети, дом был бы полною чашей; и все это создавалось исключительно руками Сони, потому что непостоянный, капризный, лихорадочный заработок мужа целиком уходил в такой же лихорадочный загул.

Пробовал я облегчить Соне заработок — отбить ее от грубых форм труда, нашел ей заказы на шитье, вязанье, вышиванье. Не тут то было. Дошла до заработка рублей в тридцать пять на месяц и остановилась, «Это уж, говорит, — милостыня. Отдавайте другим. Другие больше меня нуждаются. Мы имеем довольно, а лишнего не хотим, — нечестно брать, отнимать у других».

Насилу уговорил, чтобы она брала на комиссию и передавала работу своим знакомым женщинам...

Теперь ей, разумеется, легче: старшие девочки, падчерицы, подросли, помогают; умненькие и славненькие; светлоглазые такие; видно, что любят мачеху без памяти...

Вот тебе и вся история Сони Следловской. Когда я говорил о ней с умными людьми, мне обыкновенно указывали, что она, как юродивая, бесплодно загубила свою жизнь, тогда как могла бы быть полезна многим, многим. Но — бесплодно ли? Эти две девушки, из которых должны были выйти воровки и проститутки, а, благодаря мачехе, вышли честные и грамотные работницы, какую взять за себя в

почет любому мастеру-жениху; ее собственные дети, из которых опять-таки выйдут хорошие и полезные люди, разве это не плоды?

— Ну, знаешь, это еще бабушка надвое говорила: дети алкоголика...

— Ах, оставь ты, сделай милость, эту ломбровщину! Видел я Сониных ребятишек: славные, давай Бог всякой матери. И иначе быть не может, потому что каков бы ни был их отец, а у такого мощного, благородного создания, как Софья Артамоновна, и дети должны быть мощные и благородные. Ее души, ее натуры не одолеет в них отцовская кровь, как и самое Сою не одолели мужнины безобразия...

Наконец, видел я и Прошку и убедился, что и этот кремешок сломило-таки железное упорство кроткой Сониной натуры, что он уже понимает свое скотство и ему стыдно жены. Побои, разврат давно прекратились. Не пить он не может будет пить до смерти — и подохнет от водки, но я сам слышал, как он, пьяный, рыдал истошным голосом: «Святая! Святая!» И проклинал свое свинство. Стало быть, в звере зашевелился-таки человек, под

щетиною заходила Божьею искрой живая душа... В конце концов, бесполезно погибла жизнь Сони Следловской... только для самой Сони Следловской. Да и то еще вопрос. Она глядит довольной и счастливой. Гораздо довольнее и счастливее, чем мы с тобою, чем вот эти разряженные люди, обгоняющие нас в своих ландо, как могла бы, если бы захотела, обогнать нас и Соня Следловская... И всякий раз, что я вижу ее ясные глаза, меня целый день преследует мысль: не лишнее ли все, чем мы добиваемся своего довольства и добиться не можем? Не доступно ли оно лишь тому, кто постиг тайну самоотречения и смиренно идет по земле его тернистою тропой?